

ВАЛЕРИЙ АУШЕВ

АРХИПЕЛАГ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Что же это за земля обетованная, о которой грезил и помышлял Николай Рубцов, особенно в минуты отчаяния? Тогда мысль о ней за поэтом неотступно следовала по пятам, а в последнее время сопровождала до самого смертного часа. Тайное желание, которое он таил в себе многие годы безысходного душевного сиротства и одиночества. Черта, за которую он не пускал даже, казалось бы, надёжных соммышленников и ближайших окруженцев. В старину эту землю русские поморы, открывшие её, называли Грумантом, норвежцы – Свальбардом, а в дальнейшем дали иное название Шпицберген – в честь высоких остроконечных вершин гор и ледников, покрывавших острова полярного архипелага.

Известно, что до 34 лет у Н. Рубцова не было собственного жилья, не было и постоянной прописки. Часто ему случалось ночевать, где придётся, где его заставало позднее время. Случалось, что терял и документы. Среди немногих бумаг, удостоверяющих его личность, была и справка, наклеенная на картонку, полученная им и заверенная печатью в Никольском сельсовете Тотемского района Вологодской области, больше похожая на бланк командировочного удостоверения: “Прибыл в с. Никольское... (дата), отбыл (дата)”.

Всё это доставляло Николаю массу неприятностей как в Москве, так и в местах, куда он приезжал. Так, сложности возникли при оформлении договора об издании в Северо-Западном издательстве его поэтического сборника “Сосен шум”; при размещении в гостинице вологодской делегации, прибывшей в Архангельск в октябре 1970 года на мероприятия выездного секретариата, проводимого Союзом писателей; при выдаче гонорара за стихи, опубликованные в местных изданиях. В бухгалтериях просто отказывались принимать эту справку в качестве документа.

“В милиции, особенно столичной, – в подтверждение вышесказанного, пишет в своей книге М. А. Полётова, – справка могла считаться лишь “фильминой грамотой”. Об одном из таких случаев удалось узнать благодаря Сергею Каменеву.

В сентябре 1969 года его как будущего юриста послали помощником участкового милиционера. Холодной московской ночью, обходя чердаки домов на улице Профсоюзной, они обнаружили неизвестного. При нём не было никаких документов, только небольшой жёлтый чемоданчик-“балетка”. Задержанного, которым оказался Николай Рубцов, доставили в 120-е отделение милиции. Там он объяснил, что он – поэт, приехал к другу, но не нашёл его по адресу и решил заночевать на чердаке. Писать об этом грустно, но Николай Михайлович даже рад был задержанию: в тепле отделения милиции, в “человеческих” условиях он мог скоротать холодную ночь...”

Сегодня язык не поворачивается назвать Рубцова бомжем 60-х годов, несмотря на его бесприютность, отсутствие крыши над головой и в связи с этим бесконечные скитания. Корреспондент Д. Шеварев писал в “Комсомольской

правде” (январь 1991 года): “Он пытался зажить жизнью писателя, но каждый раз его настигала или нищета, или участковый. Он прятался в деревне, но и там его находили и предупреждали, что специально для него берегут некоторые статьи Уголовного кодекса”.

Уже учась в Литературном институте имени А. М. Горького, Рубцов с семьей жил в маленькой комнатухе при Никольском сельсовете, где его тёща работала уборщицей, а председатель сельсовета считал Николая тунеядцем. Логика суждений его была проста: только тунеядцы могут заниматься таким “пустяшным” делом, как поэзия.

Н. Рубцова не раз посещала мысль сорваться с места, исчезнуть, раствориться в неизвестности, уехать с глаз долой, подальше от долгов, от крутого безденежья, из-за которого возникало столько сложностей и проблем. И образ призрачной Гипербореи материализовывался в его сознании реальным видением ледяных вершин Шпицбергена, возможностью “махнуть” на архипелаг, который издавна поморы называли Грумантом.

В одном из писем (лето 1964 года) руководителю поэтического семинара Н. Н. Сидоренко Рубцов спрашивал: “Зачем это сидят там в институте некоторые “главные люди”, которые совершенно не любят поэзию, а значит, не понимают и не любят поэтов. С ними как-то странно говорить о стихах (это в литературном-то институте!). Они всё время говорили со мной, например, только о том, почему я выпил, почему меня вывели откуда-то, почему т. п., как будто это главное в моей жизни. Они ничего не понимают, а я всё объяснял, объяснял...”

Даже перед самым концом, когда Николай наконец-таки получил квартиру, нормальная семейная жизнь у него не складывалась. Всё по тем же самым причинам: зависть одних, подножки и травля других. “Он жаловался на интриги, которые плетутся вокруг него и не дают ему продвигаться, говорил, что есть люди, которые его ненавидят и даже преследуют. Однажды кто-то бросил ему в голову чем-то тяжёлым...”

Мало кто догадывался, что про себя Николай уже давно решил: вырваться из привычного окружения, которое, по его же словам, ему – “во как обрыдло!” Утешение он находил у давнишнего друга своего Бориса Чулкова, жившего неподалёку и не раз оказывавшего поддержку и дававшего приют.

С Борисом и мне довелось учиться вместе на Высших литературных курсах Союза писателей СССР и узнать многие подробности взаимоотношений его с Рубцовым. Так, будучи у Бориса, Николай впервые прочитал свою поэму “Разбойник Ляля”, которая не была похожа ни на одно произведение, написанное им ранее. Оказывается, он тайно готовил себя к отъезду на Шпицберген. Для чего знакомился с историей архипелага, его освоения поморами и скандинавами; изучал норвежский эпос, явно или косвенно подвигавший его к работе в новом для него жанре – сказочной баллады.

Из всех вологодцев, которым он открылся в своём неожиданном решении уехать на Шпицберген, лишь Владимиру Широкову удалось осуществить эту идею. Рубцов были не внове холодные, суровые воды Баренцева моря и белые островерхие ледники и горы архипелага. Он в своё время, в течение четырёх лет службы на Северном флоте (с 1955 по 1959 годы) на эсминце “Остром”, не раз имел возможность “вкусить все прелести морской службы”.

Г. П. Фокин, который служил вместе с Николаем, вспоминал: “Впервые встретились с Н. Рубцовым на лесопилке в г. Архангельске, куда собрали до 300 человек новобранцев. Поезд мчал нас в Мурманск. После высадки мы всю ночь куда-то шли. Пришли в Североморск. Эсминец “Острый”, на котором нам предстояло служить, стоял в доке завода РОСТА. Я попал в кубрик на корме, где жили матросы, машинисты, котельщики, а Рубцов попал в кубрик на 20 человек – там жила “элита” артиллерийской части. Они были ближе к командирам.

Для профессии визирщика-дальномерщика, которую приобрёл Рубцов, надо было уметь думать и мгновенно принимать решения. Рубцов часто приходил в наш кубрик: его тянуло к машинистам и кочегарам. У нас были гармошка и гитара. Он брал гармонь и запевал, все подтягивали за ним. Часто читал стихи...”

О тяжёлых службах на Северном флоте рассказывал впоследствии и главный редактор журнала “Север”, выходящего в Петрозаводске, Станислав Александрович Панкратов. Он проходил срочную службу на одном из эсмин-

цев под названием “Откровенный” и состоял вместе с Николаем Рубцовым в литературном объединении в Североморске.

“Служба на Севере отражалась на здоровье и на психическом состоянии моряков – многие ребята теряли зубы, лысели. Были случаи, когда во время шторма с палубы смывало матросов в ледяную воду моря. Если через 15-20 минут моряка не поднимут на борт, считай, что он уже погиб. Такие случаи были. . . Сам я однажды чуть не сгорел – загорелась на мне роба. Сам себя спас.

Особенно тяжела была служба во время шторма, который мог не прекращаться иногда в течении целого месяца, а высота волны доходила до 5-6 метров. В это время все почти страдали от морской болезни. Не в состоянии даже были подняться в кубрик – лежали, “как тюфяки”. . . Но в это время всё равно надо было выполнять задание”.

Рубцову к таким трудностям было не привыкать, в отличие от многих качку и болтанку во время шторма он переносил легко, ещё и другим, как мог, поднимал настроение.

– На Шпицбергене, – откровенничал он со мной, – могу пригодиться и в качестве моряка на корабле-снабженце, а в самом Баренцбурге – для работы в многотиражке. . . Сложности меня не пугают, шура у меня, как и душа, морская, водами и ветрами насквозь выполощена, выдублена. . .

На Владимира Широкова Шпицберген произвёл потрясающее впечатление, и он пробыл там аж два срока – с 1975 по 1978 год. Своё восхищение природными аномалиями полярных широт он выплеснул в своей повести “Время надежд”, которая полностью была опубликована в журнале “Север” (№ 5-6, 1983). Два-три отрывка он присылал мне для ознакомления (и, возможно, для подготовки собственной смены на посту редактора), чтобы я не очень-то парил в облаках, а понимал, что хлеба на архипелаге не настолько легки, как кажутся со стороны. . . Приведу два небольших фрагмента, которые всё же не поколебали моего стремления отправиться вслед за ним на притягивающий, как магнит, архипелаг.

“Темень полярки стала надоедать. Всё чаще и чаще заглядывался народ на юг, где пополудни солнышко робко, а потом всё сильнее, всё увереннее багрило краешек неба в распадке между гор. Чем ближе становился рассвет, тем крепче делались морозы, и, наконец, столбики в термометрах замерзли на постоянной отметке под сорока градусами.

Всё чаще донимали ветры, все, кто работал снаружи, поддевали шерстяное бельё, спортивные костюмы, облачались в ватные брюки, появились самодельные башлыки и маски с прорезями для глаз. Приходя с работы в столовую, мои ребята долго молчали, дожидались, когда начнут гнуть пальцы, чтобы удержать ложку, и только отогревшись горячим супом, принимались за разговоры. . .”

“Арктика есть Арктика, и скученное проживание вместе разных по характеру и духу людей дается ох как нелегко. Любой пустяк, который на материке и всерьёз бы никто не принял, здесь может вывести из равновесия, заставить долго, сильно переживать. За прожитые десятилетия случались здесь и суамшествия, и самоубийства, правда, об этих случаях предпочитали официально не говорить, но в изустной народной молве бывшие страсти жили. Про одного рассказывали, будто на проводах последнего парохода бросился он в воду, поплыл следом; другой якобы в разгар полярки перебил в посёлке все электрические лампочки, вообразив их мячами и “срезая” над невидимой сеткой с ловкостью классного волейболиста; третьему представилось, что в умывальнике из крана вместо тёплой воды течёт проявитель для фотографий, о чём он и написал официальную жалобу. . .”

Да, Арктика никого не жаловала “лёгкостью” пребывания. Николай Рубцов к этому был готов и звал её в союзницы не только для того, чтобы поправить своё тяжёлое материальное положение. Арктика для него была ещё и духовным Клондайком неоткрытых, новых тем. . .

Товарищ Николая по поэтическому семинару в Литинституте Михаил Шаповалов вспоминал, что Рубцов “с юности мечтал вырваться из знакомого круга: дом, улица, околица, поле, лес. . . Вырвался. Сезонами плавал в море, ловил рыбу, лихо, по-матросски. Мотал заработанные деньги, так что и земля “качала” его основательно. Потом Рубцов оставил флот, жил в Ленинграде, работал на заводе. С годами “им овладело беспокойство – охота к перемене мест”. Он стал по натуре своей “перекати-поле”. . .

Тема “Шпица” (для северян характерно стремление к сокращению назва-

ний. Так, Мурманский берег – Мурман; Земля Франца Иосифа – ЗФИ; архипелаг Шпицберген – Шпиц) волновала многих из писательской братии Вологды и Архангельска, но вели подобные разговоры “тет-а-тет”, доверяясь лишь хорошо знакомым и преданным друзьям. Отбывающих работать в посёлки Баренцбург или Пирамиду ждала тщательнейшая проверка на благонадёжность. Северные отделения органов госбезопасности, очевидно, опасались, что некоторые из “скрытых отщепенцев, доморощенных диссидентов из литературной братии” могут дать дёру на Запад через норвежскую территорию. И хотя Рубцов не был причислен ни к тем, ни к другим, в списки неблагонадёжных в моральном отношении, очевидно, был внесён (особенно после известных шумных инцидентов и пьяных дебошей в ЦДЛ, в результате чего в 1964 году был даже исключён из Литературного института имени А. М. Горького. 15 января 1965 года он был восстановлен, но... на заочном отделении, которое окончил в 1967 году).

В середине ноября 1980 года я получил почтовую карточку от члена Правления Вологодской писательской организации поэта Виктора Коротаева:

“Здравствуй, Валерий!

Высылаю тебе адрес Влад. Ширикова: 183028, Мурманск-28, г. Баренцбург, Ширикову В. Л.

Попробуй с ним связаться, он многое может подсказать. Кстати, они с женой остаются ещё на год. Видимо, последний. Этот год ты можешь и потратить для того, чтоб всё выяснить и оформить документы. Если понравится, то и меня к себе мани (тоже вечно денег и покоя не хватает).

Ну, всего доброго. Черкни, как пойдут твои дела. Я через три дня отбываю в Переделкино.

Привет вашим мужикам.

Обнимаю. В. Коротаев”.

Владимир Шириков – чистокровный вологжанин, моложе меня на два года. Умер он в 54 года (возраст, характерный для ухода многих талантливых людей, в ускоренном ритме проживших свою жизнь, успевших раньше других ровесников узнать её подлинную цену). Родился он в семье железнодорожников, и не мудрено, что тяга к переездам и обновлениям жизненных впечатлений составляла основу его молодых исканий и устремлений.

Редактировать газету “Вологодский комсомолец” (если не ошибаюсь) он стал после Василия Оботурова, который в 1969-м покинул пост редактора областной молодёжки в связи с отъездом на учёбу. Впервые с Владимиром Шириковым я познакомился в Москве, на совещании редакторов комсомольских газет страны в ЦК ВЛКСМ. Доверительная открытость, поисковая неуёмность новых форм работы, вдохновенная порывистость быстро расположили меня к Владимиру, а главное – нас сдружил Николай Рубцов, точнее – общее горе потери этого самородка северного края, его богатое, ни с чем не сравнимое поэтическое наследие.

Владимир был близок Рубцову не просто по-дружески, по-приятельски, их связывало нечто большее: фанатичная преданность к перемене мест и впечатлений, отысканию новых точек приложения своих духовных и физических сил.

Позднее в сохранившемся отрывке из повести “Детство” Н. Рубцова находим подтверждение вышесказанному:

“Да, сознание зависит от времени, но память не любит повторения во время картин, событий или явлений, которые уже выразили однажды интерес нашего сознания и более не могут обогатить его. Мы скоро забываем эти повторения (даже вчерашние). Иногда вовсе не замечаем их и с неиссякаемым интересом и волнением возвращаемся к своему духовному богатству – к чистым первородным впечатлениям, в том числе к впечатлениям детства, полным наиболее верным представлением о неувыдаемом разнообразии мира. Чтобы избежать скуки и всезнания в своей обыденной жизни, мы с такой же неиссякаемой надеждой и упорством стремимся к цели, достижение которой вознаграждает нас радостью нового открытия и духовного удовлетворения и обогащает нас.

Тут необходимо заметить, что повторения картин и явлений в природе имеют особый смысл. Они никогда не носят характер вынужденный, как бы-

вает в жизни взрослого человека (например, кое-кто вынужден читать эпигонские книжки, да мало ли тут примеров!), они всегда носят характер только естественный, такой же, как дыхание. А всё естественное, даже при внешнем сходстве, вечно свежо и первородно и никогда не может окончательно исчерпать интерес нашей души и сознания”.

В этих словах весь Рубцов.

Оба – вчерашние моряки Северного флота – и Рубцов, и Шириков боготворили море, питали особую страсть к Шпицбергену. Идею устроиться туда на работу в один из советских шахтёрских городков подал ещё при жизни Рубцов. Обсуждали всерьёз, не для сторонних ушей, уединяясь даже от литературных собратьев из актива Вологодской писательской организации.

*Помню ясно,
Как вечером летним
Шёл моряк по деревне —
и вот
Первый раз мы увидели ленту
С гордой надписью
“Северный флот”...
...Я влюбился в далёкое море,
Первый раз повстречав моряка!
“Начало любви”*

*От брызг и ветра
губы были солены.
Была усталость в мускулах остра.
На палубу обрушивались волны,
Перелетали через леера...
...И вот тогда
до головокружения
(Упорством сам похожий на волну)
Я ощутил пространство и движение.
И с той поры
у моря я в плену!
“Первый пароход”*

*Всё в явь золотую войдёт,
Чем ночи матросские грезили...
Корабль моей жизни плывёт
По морю любви и поэзии.
“Поэзия”*

*Я умчался туда,
где за горным хребтом
Многогорбый старик-океан,
Разрыдавшись, багровые волны-горбы
Разбивает о лбы валунов...
“Соловьи”*

*И уношусь куда-то в мирозданье,
И зарываюсь в бурю, как баклан...
За вечный стон, за вечное рыданье
Я полюбил жестокий океан.*

*Я полюбил чужой полярный город
И вновь к нему из странствия вернусь
За то, что он испытывает холод,
За то, что он испытывает грусть.*

*За то, что он наполнен голосами,
За то, что там, к печали и добру,*

*С улыбкой на лице и со слезами
Ты с кораблём прощалась на ветру...
“Ты с кораблем прощалась”*

*Всё я верю, как мачтам надёжным,
И делам, и мечтам бытия.
“Мачты”*

Валентин Сафонов служил с Николаем Рубцовым на Северном флоте. Корабль, на котором они выходили в Баренцево море, случалось, заходил в воды, омывающие острова архипелага Шпицберген. Сами эти походы, рейды в непосредственной близости от берегов, принадлежавших норвежской стороне, носили секретный характер.

В свободные от вахты минуты Валентин и Николай интересовались историей освоения Шпицбергена русскими моряками, жизнью советских шахтёров тех лет в заполярных посёлках Баренцбург и Пирамида, где производственное объединение “Арктикуголь” вело разработку в рудниках угольных антрацитных пластов. Перед демобилизацией среди членов экипажа нередко заходила речь о неслыханных по тем временам льготах, предоставлявшихся советским шахтёрам, работавшим на норвежской территории, о длительных отпусках, сухом законе, о том, что шахтёры, возвращаясь на Большую землю, в Мурманск, получали мешки денег, — одним словом, Шпицберген рисовался неким Клондайком.

Может быть, не случайно завуалированные мотивы Шпицбергена прозвучат в одной из строф ставшего широко известным стихотворения “Плыть”:

*В жарком тумане дня
Сонный встряхнёт фиорд!
— Эй, капитан! Меня
Первым прими на борт!
Плыть, плыть, плыть...*

Четыре года отдал старшина второй статьи Николай Рубцов службе на Северном флоте в качестве дальномерщика. По словам его сослуживца Валентина Сафонова, “превосходный был моряк-то, знал своё дело дальномерщика не хуже, чем хирург знает своё!” И вот пришёл день, когда Николаю предстояло распрощаться с флотской жизнью — уволиться в запас. “И нет у него никаких планов на будущее, только смутная тревога в душе”. Подтверждение тому — строки из письма, посланного Рубцовым другу своему В. Сафонову в феврале 1959 года: “О себе писать ничего пока не стану. Скажу только, что всё чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ни черта не могу придумать! Неужели всю жизнь придётся делать то, что подсказет обстановка? Но ведь только дохлая рыба (так гласит народная мудрость) плывёт по течению!”

И вновь постановка того же самого вопроса в другом письме:

“Вообще живётся как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для чего же живу. Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать и кому доказывать — не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться...”

Николай не терял ещё надежды, что судьба окажется благосклонной к нему и путь на Шпицберген будет открыт...

На это он намекает в письме от 27 июля 1964 года (на всякий случай подалее от сторонних глаз) другу и собрату по перу С. Багрову: “Хотелось бы мне встретить тебя, тем более что у меня есть к тебе дело. О нём я пока не стану говорить. Думаю, что заеду в Тотьму, вот тогда об этом и поговорим...”

Замыслив поездку на Шпицберген, Рубцов стал присматриваться к скандинавской литературе и, в частности, норвежскому поэтическому эпосу. В журнальной периодике ему попались переводы баллад с норвежского Г. В. Воронковой и Игнатия Ивановского. Так или иначе, но именно под впечатлением от знакомства со скандинавской поэзией, а точнее — балладой “Мертвец”, Николай сочиняет в 1969 году свою стихотворную сказку-балладу “Разбойник Ляля”. В норвежской балладе отразилась мысль о том, что покой-

ник, не похороненный в освящённой земле, то есть на кладбище, может являться живым и может назвать того, кто его убил, как это делает привидение в шекспировском “Гамлете”. А ещё странствующему рыцарю открылись страшные обстоятельства смерти мужа, которого задушила подушкой жена в сговоре с её подругами:

*Солнце зашло, отдохнуть пора,
Завтра опять мне в путь пора.*

*Я на поляне стреножил коня,
Тут сон глубокий сморил меня.*

*Вдруг — не забыть такого вовек —
Мёртвый явился мне человек.*

*“Очнись, очнись, о, рыцарь усталый!
Сонного мне убивать не пристало.*

*Очнись, о, рыцарь в красных ботфортах,
Ты — в живых, а я — среди мёртвых.*

*Ночью меня задушила подушкой
Жена Ингебьёрг и её подружки...*

*“Скандинавская баллада. Серия “Литературные
памятники” // Л., “Наука”, 1978. С. 110—112*

Пророческий намёк на “тонкие” обстоятельства грядущей для Николая жизненной катастрофы! Об одном из таких “намёков” вспоминает в своей книге “Наедине с Рубцовым” его подруга Нинель Старичкова, но даже ей Н. Рубцов не открывает, почему он вдруг обратился к не характерному для себя жанру. Вот что она пишет об этом:

“Через довольно продолжительное время он вновь появляется у меня — прежний, улыбчивый, кажется, очень доволен собой и всем на свете, глаза его сверкают. Сейчас что-то сообщит. Так и есть.

— Я поэму написал.

Смотрю на него с восхищением. Он, видимо, тоже отметил это и поправил себя:

— Нет, не поэму, просто большое стихотворение. Меня только одно имя смущает.

— Какое имя?

— Ляля. Это — разбойник.

— Ну, — говорю, — для разбойника это не очень подходит. Уж больно он у тебя ласковый и добрый.

— Мне это тоже говорили, но я так хотел.

Коля стал читать, жестикулируя, а я, вслушиваясь в каждое слово, предвижу страшную развязку. (Ведь он же готовит меня к ней). Вот атаман влюбляется в красавицу княжну, вот жалуется Шалухе: “У меня на сердце одиноко...”

— Наступает развязка:

*Но слетелась вдруг воронья стая,
Чуя кровь в лесах благоуханных,
И сгустились тени, накрывая
На земле два тела бездыханных...*

И вот Шалуха, “увядшая в печали”, бродит по посёлкам, рассказывая о “любви разбойника печальной”...

... Когда стихи были напечатаны, я узнала то, что Рубцов мне предсказал:

*Так, скорбя, и ходит богомолка,
К людям всем испытывая жалость.
Да уж чуёт сердце, что недолго
Ей брести с молитвами осталось.*

*Собрала котомку через силу,
Поклонилась низко добрым лицам
И пришла на Лялину могилу,
Чтоб навеки с ним соединиться...*

Старичкова Н. / Наедине с Рубцовым // СПб, "Русская земля". С. 202—203

О Шпицбергене давнишние друзья вспомнили вновь, когда Рубцов приехал в Рязань по приглашению Валентина Сафонова и "однокашника" по Литературному институту Бориса Шишаева в марте 1968 года. Разговор об этом зашёл у костра, разведённого на берегу речки Трубеж у древних стен рязанского кремля. Об этой встрече позже мне рассказывал присутствовавший там поэт Анатолий Сенин. На шутейное предложение Сафонова, выслушавшего сегования Рубцова на житейские неурядицы, махнуть на Шпицберген и начать вести абсолютно трезвый образ жизни, Сенин мотнул головой:

— Это же произвол! Я бы, глядя на пустой гранёный стакан, с ума бы сошёл, сокрушаясь от невозможности приложиться к элементарному "портвешку"!

Все как один кивками дружно поддержали товарища. Но Рубцов возразил:

— Зато бы вернулся с деньгами, которых хватило бы всех вас, косопузых, и недругов заодно до отрубца напоить, а потом — навсегда завязать, а ещё бы свой дом где-нибудь в Емецке, Тотье или Николе поставить и стихами заняться, не помышляя о куске хлеба насущного...

Разговор о фантастических благах Шпицбергена прервался, и к этой теме уже никто не возвращался. Но Николай, вернувшись в Москву, а затем и в Вологду, неожиданно снова вспомнил, будучи у Чулкова, о заманчивой идее податься на Шпицберген, чтобы заткнуть все образовавшиеся дыры в бюджете, выбраться из долгов и поправить семейные дела. Об этом же, без широкой огласки, обмолвился и с Виктором Коротаевым.

Вообще-то тема Шпицбергена считалась закрытой для рядового советского сознания, и большинство граждан страны даже не подозревало, что такая возможность существует. Чтобы попасть туда, в "заполярное Эльдorado", и оказаться в ряду "счастливицков", необходимо было "просеяться" не через одно сито силовых и партийных органов. Первому из вологодцев (и то лишь спустя четыре года после трагической гибели Н. Рубцова) попасть на Шпицберген удалось Владимиру Ширикову. Свидетелем его возбуждённого с Николаем разговора относительно оформления документов стала Нинель Старичкова, о чем она не преминула упомянуть в своих воспоминаниях:

"Коля болезненно реагировал на каждый звонок в дверь. Чаше мы отмахивались. А иногда он, съевшись, посылал меня сообщить, что его нет дома. Однажды ответила отказом, а Коля вдруг залепетал: "А ты спроси, спроси, кто меня спрашивает..." И тогда за дверью громко произнесли: "Шириков". Коля как закричит: "Ну, что же ты! Открывай! Это же Володя! Шириков!" Я открыла дверь, и Коля, даже не дав спокойно войти, с поднятыми вверх руками бросился навстречу гостю, схватив в охапку, потащил внутрь комнаты. Они о чём-то очень оживлённо поговорили, как будто давно не виделись, и им необходимо было выговориться. Я не стала мешать их встрече, оставила вдвоём..." (с. 180).

Владимир Шириков побывал на Шпицбергене, а перед Рубцовым была выстроена непреодолимая стена из разных препятствий в виде запретов и "непущений" по причине якобы не соответствующего "облику морале". С досадой о несостоявшейся поездке на норвежский "Клондайк" рассказал мне Николай Рубцов в октябре 1970 года, когда до трагической развязки оставалось четыре месяца...

— А я ведь серьёзно готовился к десанту на архипелаг, даже норвежский эпос стал изучать... Читал в журналах переводы с норвежского Воронковой и Ивановского, он, кстати, работал одно время в одной из холмогорских школ и увёз с собой в Питер первую холмогорскую красавицу, дочку известного литератора с Северной Двины Валентину Калинкину...

Владимир Шириков своей увлечённостью, неиссякаемым энтузиазмом и энергией "заразил" сначала меня арктической болезнью, а затем и Виктора Коротаева. Я стал оформлять необходимые документы и несколько раз вылетал в Мурманск в "Арктикауголь", где должны были рассмотреть мою кандидатуру на предмет утверждения редактором той самой шахтёрской газеты, где

в своё время работал Шириков, но неожиданная телеграмма из Москвы с сообщением о том, что я принят на Литературные курсы при Союзе писателей СССР, резко изменила мои планы...

“В бытийном смысле Рубцов не только конец деревни видел, а почувствовал возможный предел всего и всему, апокалипсичность всей эпохи. Вот почему в своих странствиях он так упорно искал островки неисчезнувшей земной тишины... Рубцов, можно сказать, был поэтом последних островков разламывающейся на части и уже погружавшейся в пучину земной Атлантиды... Но Рубцов неизменно противопоставлял этому трагедийному ощущению внутреннюю мужественность своей души, которая подкреплялась выношенным убеждением в прочности и даже логически необъяснимой, но интуитивно угадываемой неколебимости русской национальной тверди”, — читаю в статье “Николай Рубцов — человек и поэт”, опубликованной в библиографическом словаре “Русские писатели. XX век” (т. 2. М., 1998).

Примечательно, что в дальнейшем и меня судьба сведёт с сослуживцами и единомышленниками Николая Рубцова по Северному флоту и занятиям в литературном объединении при газете “На страже Заполярья”, собственно, с самим Валентином Сафоновым и Ильёй Кашафутдиновым. Это произошло уже в Рязани в 60–70-х годах, когда один из них возглавил областную писательскую организацию, а другой — стал фотокорреспондентом газеты “Рязанский комсомолец”. А на переломе 70-х и 80-х годов мне довелось встретиться и с поэтом Владимиром Матвеевым, бывшим начальником отдела культуры в газете “На страже Заполярья”, и с Борисом Романовым, со временем возглавившим Мурманскую писательскую организацию, и с будущим известным детским писателем Юрием Кушаком. Но в те годы, о которых идёт речь, “все они познали первую радость творческого успеха, влившись в литературное объединение...”

Валентин Сафонов в своих воспоминаниях заключает: “Человек с характером, с темпераментом Коли не мог позволить себе плыть по течению, делать то, что подсказает обстановка. Не мог он уподобиться лежачему камню, под который вода не течёт. И всей своей короткой, стремительной жизнью доказал это... Бродяжничал (в самом лучшем смысле этого слова) по Руси — вечный странник, непоседа, не имеющий ни кола, ни двора. Истинный Поэт!”

Эту мысль подтвердят и фрагменты своеобразного стихотворения-реквиема Бориса Чулкова, посвящённого его лучшему другу:

*Я знал, что он иначе и не мог,
я чувствовал: во всех его метаньях
и не душа повинною была,
а путь, что предназначен был от века,
а жребий, что написан на роду.*

*.....
Душой поэт таким же был сродни,
как сам он, неприкаянным скитальцам —
Есенину, Вийону и Верлену
(судьба — листок, осенним мчимый ветром,
не знающим, куда листок несёт).*

*Но, может быть, в нём не было метаний,
как после неизбежно все представят,
хрестоматийный глянец наведя?
Нет, были, — отвечаю, — как не быть-то:
он милостию Божьей был поэт.*

“Листок, осенним мчимый ветром...”, 1983

А завершить своё повествование я хотел бы двумя строчками из стихотворения Николая Рубцова “Жалоба алкоголика”:

**ЗАЧЕМ НЕ УРОДИЛСЯ
Я В ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК?!**

Может быть, всё, что замышлял Николай, осуществилось бы?! Впрочем, сослагательное наклонение не популярно и в наши дни...